

Пётр Разумов

ЛЮДИ
ВОСТОЧНОГО
БЕРЕГА

Книга издана при поддержке Центра Андрея Белого

Пётр Разумов — поэт и эссеист. Родился в 1979 году в Ленинграде. Окончил филологический факультет РГПУ им. Герцена. Учился также в Санкт-Петербургском государственном университете, Санкт-Петербургском экономико-технологическом колледже питания, Восточно-Европейском институте психоанализа. Работал разнорабочим, продавцом новых и старых книг, делопроизводителем, специалистом по недвижимости, флористом, чайным мастером, арт-менеджером, помощником светооператора, поваром, психологом, курьером, администратором в антикафе, экскурсоводом, агитатором. Автор поэтических книг «Диафильмы» (СПб., «Издательство Сергея Ходова», 2005), «Ловушка» (СПб., «ИНАПРЕСС», 2008), «Коллеж де Франс мне снится по ночам» (СПб., «Алетейя», 2012), «Управление телом» (М., «АРГО-РИСК», 2013), книг эссе «Мысли, полные ярости» (СПб., «Алетейя», 2010; 2-е изд., испр.: СПб., «Своё издательство», 2013) и «Кость» (СПб., «Своё издательство», 2014). Публиковался в журналах «Новый мир», «Новое литературное обозрение», «Воздух», «НоМИ», «Зинзивер», «Акт», «Двоеточие» (Израиль), альманахе «Абзац» (Тверь), электронных журналах «TextOnly», «Лаканалия», «Топос», «Флейта Евтерпы» (Бостон), на сайте «Полутона» и «Квиркультура в России». Также автор 15 «самиздатских» поэтических сборничков, один из которых («Заложник», весна 2006 года) удостоен премии «Пропилен». Трижды входил в лонг-лист премии «Дебют» (2011–2013 гг.). Стихи переводились на английский, итальянский и жестовый языки. Член Союза писателей Санкт-Петербурга.

© П. Разумов, 2017
© Л. Мосиашвили, вёрстка, 2017
© М. Ходак, дизайн, 2017
© MRP, 2017
© ООО «Скифия-принт», 2017

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СФИНКСОВ. О НОВОЙ КНИГЕ ПЕТРА РАЗУМОВА

Стихи Петра Разумова преобразились. Читатель, знакомый с предыдущими книгами автора, обратит внимание на то, как изменилась степень герметичности в его стихах. Представим себе некие несимметрично расположенные столбы, столбики, покрытые тёмной тканью — опираясь на них, стихотворение движется, но время от времени скрывается за ними. Так у Разумова в «Ловушке» и «Управлении телом» работали рифма и ритм, принципиально нерегулярные, продолжающие Елену Шварц. Этих столбов больше нет: стихотворение передвигается без них, подобное шаровой молнии, которая ведёт себя непредсказуемо. Цитирую один из любимых текстов — «Энциклопедию экстремальных ситуаций» Анатолия Гостюшина: «Она может оставить после себя дырку в двери, а может лишь запах озона».

Первые тексты, с которыми столкнётся читатель этой книги, кричат о присвоении и потреблении. Предметное и словесное богатство, рассыпанное здесь, превращает строки в витрины и прилавки. Контексты современного потребления, которые, как принято считать (считают не какие-то там заоблачные авторитеты, а «все»), не идут Петербургу, сталкиваются с петербургскими же литературными клише, мотивами Достоевского и Некрасова. Кто кого сборет? Наблюдать за этим поединком неловко. Субъект, в голове которого находится ринг, никак не может попасть в ритм вакхического праздника: нужно помнить о том, чтобы не заляпать дорогие (в кавычках) вещи, нужно оберегать их от опасностей (вспомним стихи Сергея Круглова: «Тут в подворотне подонки! / Напали, из рук выбили, глумились, / Растоптали мечту в стеклярусную пыль, в ноль!»), нужно злиться на них за то, что они занимают место в жизни. И ещё нужно им мстить.

Текст, описывающий такие двойственные чувства, и оказывается с двойным дном: «О вещи, хвалу и славу пою ширпотребу, фетишизму, изматывающим очередям к кассе!» — очевидно уитменовский пафос такой строки, неумеренный восторг от скидок и модных вещей легко приподнять, как крышку консервным ножом, чтобы обнаружить под ней то, о чём умному человеку говорить нелегко: проще «петь хвалу ширпотребу». Отчасти так происходит и потому, что диктат неприятия

консюмеризма лишает нас возможности получать удовольствие от вещи, помня о социальном контексте каждого составляющего её элемента; в этом смысле движения против принятых (как «вообще», так и внутри конкретных сообществ) схем потребления — порча, возврат, нарочитое любование — выглядит лавированием, попыткой взломать логику системы.

Дело, впрочем, и в том, что разговоры о вещах более глубоких требуют серьёзнейшего расхода нервов, отстаивания остроты своего взгляда, будь то направленная вовне политика или направленная внутрь интроспекция — иногда от неё, как от комара, напоминающего о покойной бабушке, можно отмахнуться, но часто после неё остаётся «голый человек на голой земле»:

*Больше нет отчаянности, осталось отчаяние
Простое голое больное отчаяние,
Не растрёпанное испанливое пубертатное
А угрюмое тяжёлое, отчаяние стареющего мужчины
И ни одной причины ему быть нет
Просто всё обрыдло и хочется отдыха*

Поэтому я и курю

Для того, чтобы вывернуть себя наизнанку, нужно проделать это и со своей поэтикой. Один из способов — сделать её открытой, «выложить исходный код». В некоторых стихотворениях такой приём обезоруживает: например, там, где накал и нагромождение эпитетов отчетливо напоминает о Егоре Летове (важном для Разумова поэте), незамедлительно появляется и сам Летов. Но это крайность, а есть и вещи принципиальные для всей книги. В авторском предисловии к «Людям восточного берега» Разумов пишет об отказе от рифмы как о политическом жесте, ссылаясь на слова Галины Рымбу о том, что рифма служит признаком тоталитарного уравнивания слов по фонетическому сходству, тогда как девиз свободного искусства XX века — «ничто не должно быть похожим». Мы не станем вдаваться в то, что рифма есть лишь одно из возможных подобий, а прочие, в первую очередь интонационные и синтаксические, составляют стиль автора, который и должен рассматриваться как «непохожее» на более высоком уровне, чем один корпус текстов. Очевидно, что и для Рымбу, и для Разумова стилистические подобия играют важную роль. Но и сложная звуковая организация не исчезает: достаточно взглянуть на такое стихотворение, как «Сосуд с огнём, сосуд с прошедшей водкой...», где паронимическая аттракция создаёт убедительный морок, своего рода мелкоячеистую сеть, из которой трудно выпутаться. Впрочем, это скорее исключение: большая часть текстов книги стремится к отточенности и лаконичности строки-

синтагмы. Пожалуй, лучший пример этого — безымянная поэма, начинающаяся строкой «Во все концы дождь, август пшеничный и поле разрыто воронкой», замечательно демонстрирующая, как быстро «метафизика войны» замещается физикой и физиологией:

*Само живое здесь стало развратом
Сам свет и деревья здесь нахнут сажей
И коза на гнилой верёвке орёт о молоке
Которого уже никогда не даст влажная от пота земля,
Принимающая этот позор*

«Золото, золото в траурном небе»: будучи эмоционально разнородной, поэзия Разумова сохраняет память о возвышенном первоначале. Чистые жанры в поэзии сейчас находятся под большим подозрением. Разумов способен как бы произнести, например: «Это элегия», прямо называя такие маркеры этого жанра, как «грусть» — слово, чья смысловая окраска сразу же заполняет стихотворение. Казалось бы, это не должно работать, но это работает:

*Тогда и железа исходит предел
Где белое, там закрама пустоты
Отец как погон недоотпоротый виснет с плеча
Кровь белым мычит и не хочет покинуть свой кожаный козлук
И жизнь как иголка и бритва, то слышно спешит
То тишиной остановок наводит на грусть*

Риторический подъём не выглядит издёвкой на фоне текстов о потреблении и отдельных стихотворений, которые в контексте всей книги выполняют как бы промежуточную, «настраивающую» функцию; он подготавливает к пониманию того, что где-то в самой глубине сознания говорящего остается образ инобытия, возможно райского. Это понимание приходит в середине книги — вот, например, стихотворение, предлагающее антитезу хрестоматийному «Парусу»:

*Бумажной джонки лёгкий свет
И бриз от берега куда-то далеко
Зачем румяный бок подставил я мечте?
Зачем заволокло луной ночное небо?*

*Я одинок и счастлив
Далёкий колокольчик
Смежает время с горем пополам
И золотит восток*

А на востоке, должно быть, стоят и ждут эту джонку люди восточного берега. Может быть, это джамбли с зелёными головами и синими руками, может быть, древние египтяне из некоего анти-Аменти, живущие на Ниле-Неве и уповающие на милость бога Хапи, который управляет разводными мостами. В любом случае, люди, оживлённые озоном из «фрагментов любовной речи». Для меня, в самом деле, загадка, как Разумову удалось выстроить эту книгу с таким многообразием эмоциональных регистров и речевых скоростей, начав со столь рискованного аккорда и продолжив не менее рискованными. Но такая загадка — обычное дело для хороших книг.

Лев Оборин

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Неожиданно для себя я почти совсем отказался от рифмы. Говорю: «почти совсем», потому что даже если текст в известной степени «гетероморфный», то есть включает в себя аллитерационные и ассонансные вкрапления, всё же на каком-то высшем или глубинном уровне рифма уже снята, отсутствует как моделирующий, контекст-, концепт- и конструкт-образующий феномен.

Причин несколько. Прежде всего, это отказ от рифмы замечательного молодого поэта Галины Рымбу, с которой я чувствую некоторое сродство, и знакомство с Лидой Юсуповой, живущей в Белизе на берегу Карибского моря и пишущей стихи-газетоны о канадских маньяках.

«Мыслить любовь, плен метафоры, подобие как причина связи, всё рассыпается — означающие фашисты», — написал я Гале ВК. Галя поделилась дневниковой записью: «В этом мире уже давно ничего не рифмуется, а если и рифмуется, то не на таком явном уровне. Стремление рифмовать, подчинять строки созвучиям, выискивать идентичности в окончаниях слов в полной мере начинает проявляться тогда, когда зародыш тоталитарного дискурса уже шевелится в европейской утробе. Рифма как момент подчинения начинает массовый исход из текстов как раз тогда, когда тоталитарные модели заявляют себя на буквальном (а не в нарождающемся где-то в глубине некоторых философий) — юридическом, государственном уровне. Слово как конституирующее жизнь каждого отдельного субъекта стремится сбросить с себя оковы идентичностей и звуковых сходств. Ничто не должно быть похожим — вот девиз словесного (и визуального постольку поскольку оно всё более включает в себя текст) 20 в., обратной стороной серийности, подчинённости серийному производству (не только по капиталистическим причинам) являются концептуалистские жесты, Фабрика Уорхола, мультипли, Пригов и пр».

Вторая причина: давление петербургской «неофициальной» традиции, незнакомого мне Василия Филиппова, с которым у меня отношения по сходству, структурному, психологическому, и, в то же время, личное знакомство, в какой-то степени ученичество у теоретика и практика языковой деконструкции Александра Скидана. К этому надо

добавить важную и даже программную статью Григория Дашевского «Как читать современную поэзию».

Третья причина — это вывод о том, что рифмованные тексты в сегодняшней ситуации оказываются настолько «герметичны», что читатель почти не в состоянии их понять и принять. Он не хочет наблюдать жонглёра на сцене, который демонстрирует своё мастерство, ловко перебирая фонетическими дублетами. Читатель хочет доверительного диалога, тихой или страстной беседы с человеком, равным ему по статусу: «Давай, чувак, я расскажу тебе историю. Послушай!» Это связано с возвращением в моду миметического компонента, связности и ясности, которая необходима, чтобы сердцу стало больно.

И ещё одно важное обстоятельство: я понял, что я в некотором роде обезьяна, которая всю жизнь кому-то подражала, танцуя под дуду Традиции. Рифма и метр вводят в некоторое оцепенение, ты невольно не производишь, а воспроизводишь чужой лик, чужую речь, чужие ужимки, мысли, образы — всё то, что должно быть только твоим, иначе в поэзии нет смысла. Отказавшись от части арсенала, я выигрываю ту свободу, которая больше не болтается из конца в конец формы, а ровно ложится на лист, продолжая объём реальности.

Я продолжаю настаивать на травматическом письме, где главное — передача чувства, пришедшего в слове, оформленного как рассказ о себе. Это патологическая история, сродни эксгибиционизму, влечению к раздеванию и демонстрации половых органов. Как говорит Шнуров, если нечего показать, то и штаны снимать незачем. «Поэт — идеальный больной, болезнь (боль) которого становится болью века», — это цитата из моей первой книги эссе. Боль личная становится травмой социальной, или наоборот — сначала государство вминает человека в асфальт, облеивает его, а затем он произносит крик — ту речь, которая больна и больна у каждого по-своему, и одновременно — типически. Поэтому возможен и должен быть диалог, социальный и сердечный.

5 ноября 2014 г., СПб.

*Но знаю я, корабль спокоен,
Что он недвижим средь пучины,
Что не вернуться мне на берег,
Что только тень моя на нём.*

К. Вагинов

СТИХОТВОРЕНИЕ С РОЖДЕСТВЕНСКОЙ СКИДКОЙ

Л. Ю.

Спотыкаясь, я летел к кассе:
Пиджак за 6 тысяч рублей уценён вдвое!
Но размер не мой, только «L», эта буква с циничной спинкой
На пузе пуговка не застёгивается, Лида плачет, страдая за меня
Как Христос на рождественском древе
Так висит пиджак в магазине

Я хочу здесь работать, мыть кафельный пол,
сдувать пылинки со стульев
Охранять развалы добра, все эти ценники трогать,
Наряжаться ночами в белые кардиганы
и топтать по «Галерее», как по выставке
Как будто всё инсталляция и голые девы вокруг
В пирсинге и тату, эстампы, бухло, дорогие пирожные и канапе
Укусить вилочкой что-нибудь

Рай товарного изобилия, фетиши света, рукава рукавов
Я хочу потрещать, мерить, давиться,
плескаться в джакузи и чёрной икрой утираться
Со щеки и со лба сливочное варенье темноты,
потных объятий в примерочной
Трусики, кружева, канапе, масло на кончике перьев

Здесь крокодил не ступал, и мышь не пролезла
Только я, отъявленный вор и убийца, пиджак примеряю
Да будет согласие, размеры, и букли, и сочный пирог
Разрежьте мне на краюхи добро, и впихните,
В одеяла, в нейлон, в хризантемы и боль
Всё в корзину добавьте, сочтите и чек пробивайте
Я верну всё с лихвой, праздничной скидкой вернусь,
Товаром по чеку, возврат и возврат, две недели, неделька
Трусики, трусики, и алкоголь, алкоголь
Ценник снимайте
И гладьте где гладить нельзя

* * *

Л. Ю.

Она тянулась к губам,
Так сладко на донышке
И каждый шептал о своём

Стиль «фьюжн» был мерой тепла
Где отказ пополам делит полдень и ночь
Напролом через всю пустоту Петербурга

Кони, кони на влажных трусах
Жёлтых от пота, икота, икота
Вот ведь шальная, где голый как снег, как январь, как печаль
Стоишь среди смёрзшихся зданий
Всё пустота, ветер, скорбь
И Медный державно хлопочет на севере, где-то в другом уголке

Скачи, ипподром, благовест, темнота
Из края в краюху, из печени к сердцу
Одно ли оно у тебя?
Осьминожкой плыву и плыву
Через весь океан, в окоём, где тёплое море плещется у берегов
Белых, как помыслы, белых песков вереница
И Джек Воробей поправляет кривое седло корабля
И шляпу при ветре зюйд-вест

Зачем этот скрежет?
Всё жемчуг и сон, всё минута
Всё донышко, счастье и как говорил

Молчи, панибратка...

ЖЕЛАНИЕ ВЕЩЕЙ

Электрички метро вытягивали время вместе с пространством
Эскалаторы выли, стонали, плакали
По пиджаку, разошедшемуся на спине по шву
По шву разошлась жизнь, запятая, что-то было ещё,
в конце, в тоннеле, в строке

О вещи, хвалу и славу пою ширпотребу, фетишизму,
измагывающим очередям к кассе!
Верхом блаженства было купить солнечные очки зимой, в феврале

Наврали, наврали цены, стикеры, исподнее синих пиджачных форм
Возврат оформлять вдвойне слаще, чем просто пользоваться
Главное — купить, натянуть, присвоить
Потом и порвать, потерять, продать — всё хорошо когда хорошо
Когда тряпочка, и заклёпка, и кожа коричневая
Потому что чёрная кожа — тьфу, пакость, моль ей на нос

Сначала надо написать заявление о браке, о возврате по чеку,
который забыли выдать
Восемнадцатого января около трёх часов дня в магазине ИП Воробьёва
Касаткина какая разница
В торгово-развлекательном центре «Пик» на Сенной
Здесь проходит пик метафизического реализма онанизма
постмодернизма и т. д.
Здесь лошадь дохлую бил кнутом извозчик и сено дорого студент
Раскольников торговал Родиной

В родном городе, посередине реки Пряжки или Невы, в новом здании
Мариинского театра
Цвета мочи стены и кардиганами полон гардероб, в театре Фоменко
работал гардеробщиком поэт Сунгатов

Ну да о главном:
Песнь песней и гимн гимнов пою я вещам, их жарбы чисты, только
люди делают из них фетиши как из мухи слонов
А мухи прекрасны сами по себе, кусаются цены, не брюки
И фирма «Zaga» не несёт ответственности

Прильнуть, погладить как дитя, как соловушку, как утюжком рукава
Рубашка горчичного цвета светла, стирка сделает больше
Но кроме хозяина кто приголубит вещицу
Как птицу беру на плечо кардиган
Он синий и тёплый
За что вы не любите эти слова, эти пуговички, эти прекрасные нитки
Чем тоньше тем прочнее
Чем искренней вяжет затейливый узел помощница старшего продавца,
товаровед, девушка на кассе
Тем будут связи прочней

В кафе «Costa coffee» испить изумрудный нектар
Так кофе зовётся, когда покрасивше
И Ильенен сам, сын мой родной, приёмный, забродший, любимый
Не скажет уже ничего
Милый, спи
На подушке из перьев, из курток, из лжи,
Секс, секс на все времена, племена, молочай добавляй
И в ухо зернистым вливай —
Дяде будет забава
Сон, сон тихим лютиком вклей
В петлицу завмага
Лей, пей, веселись
На одежду пятно не поставь
Химчистка дороже

* * *

Сосуд с огнём, сосуд с прошедшей водкой
Не стоит ходить на концерт, где за власть
Одно чудовище умерло, другое нажралось стрихнина
Россия мой враг, где пожар, где отсос за табак
Все слова слиплись в узел и честь не спасёт, если рупь до полочки

Где место в немой конуре, где за солью и солнцем стояли
А вышел один ржавый шипчик, и пших!
Учить мне иврит и канать

Канат рвётся к центру
Где власть изопрела в соплях, и откатов пожарные души сопят

Я всё прогрему, я слабость и честь,
И боль, и соплей ликование
На флагах лишь смерть и смердит из-под каждой шинельки,
Что Гоголь свой нос в ней запрягал, так по хер!
Заплата на ткань из-под снега не видно
Обидно

Россия мой враг, мой почин и окрест болтовня,
Всех шуб с гайдуков недобитых озноб и оскал
Как Путин сказал

А что? Хорошо, под седло, под капот, под огурчик
Всё спреет в навоз золотой
И мама и друг и какая-то девочка в мертвенном сне:
Постой всё, постой!

* * *

На энергии негатива, ярость, спрессованная в узлы, в кровавую кашницу
Что ответит столь свободным словам нутро?
Только то и значит что-нибудь, что куплено этой плевой
На дереве висеть, на иголке Ницше цитировать
Всех хлебосольных земель стружка сыпется,
Льётся под пулями дождика в ранку землицы
От чёрного к чёрному протянут шест, опричь пояска, опричь предмета
Всё хорошо, если сохлось
Всё по кайфу, когда знобит

Сидеть на работе, где нет никого
Кофе в кристально чистой чашке мещанским добром попереёк
Лучше сопли и боль хлебать
Хляби двигать
Ногами преть
Лучше кидать на мобилу, потеть в подворотне, хныкать
Мамочку звать, бутылки прятать

Там, где начинается музыка — там хорошо, на районе, в лесочке системы
Солнышком греться, травкой всходить, пепелком ошпаривать рёбра, колени

Какую музыку ты слушаешь?
Какой ещё кайф ты не ловил?
Какую целку не трогал?

Баран, вепрь чешет еловую шкуру
На луне, на луну в серебряном окоёме, в квадрате окна, в квадратуре улицы...

* * *

Я распадаюсь каждый день
Сумерки приносят оттяг
Закрывающийся в том, что чуть-чуть полегче

Рыбка в морозном воздухе

Какого чёрта живы ежи, рукавицы, связанные заполночь
Я червь. Чтобы не захлебнуться, ползу, натываясь на остриё лопаты
Кто сожрёт, кто подавится, кто просунет в ушко заката

Здесь теплее и радостней было

Унылые черти, мозги, скосившиеся от долгого сна
Сон оплетал ночь, утро в жёлтом бряцанье прохладной весны,
Оплетал узлы потолка, тюль, чуть пробивающуюся сквозь пыль

Пыль, пыль на влажных ладонях, висках

Половицу царапает кот. Он помрёт не раньше, чем придёт его час
Не то я — качнусь, упаду, состарюсь взаправду
Здесь, сейчас

Суицид ветоши, мусор сквозь мерную шель
Всё, что пишется — вместе с брюхом прокиснет

И какая-то мама, другая над телом нависнет

* * *

Как байронический Гарольд
Стоял Иван
Дождь моросил, накрапывал
Часы перевалили через шесть
В развалах наступала тишина
Здесь целый мир, здесь праздничный портал, весенний
Здесь гомон продавцов и праздные узбеки
На биваках из шмоток
Пьют чай дешёвый из пакетика за полтора червонца
Сегодня не выглядывало солнце

Иван стоял, держа в одной руке
Зонт, только что
Одолженный у вечности за небольшую цену
Он грациозен был, на фоне полиэтилена
Обвёрнутых тюков и раскладушек
Он душка, он мечта, он меркнущий экватор чувств
Которых не питал к нему пиит
Весь секунд, изомлев
На лаврах денег спит

* * *

Вселенной катышек — кадык, а, может, клёцка в супе у Бога
Говори, дорогой, прижимая запястье к стеклу
Я люблю, когда время не скоро, не стремится иглой в никуда

Подойди. Видишь — сын
Это плесень на сыре, некстати пришедшая из-за кордона

Знаешь, всё пустота
И когда веселящим звоночком гудит по-над стружкой ресниц
Или ниже
Тогда хорошо

Клёцка бухнет, решиться не может растаять
Суп хорош
Чёрт бы побрал того Бога
Если он допустил, если он не сберёт,
Не прикрыл, схоронил всё в кудеснейшей лапе
И запрятал кулак под рукав

Милый, прав я?
— Ты, Петенька, прав

ПАМЯТИ ХОХИ

Одной своей чертой я скрасить хочу ночь
Хотя, что чёрным по чёрному мазать?
Хоха, кумир поднаглевших юнцов
С Выборгского, Приморского, далее — на юг

Я сорванец и грубый лгун, я плевок, я мечта истерички, наркоман, обезьяна
Рана долго будет рубцом красоваться на пятнах его очков —
Вторая субличность, Тото, весь в белом
Как же ему не вломить?
Оттаскать за волосы, ткнуть лицом в шершавый асфальт,
Выбрить на гладкой щеке утюжком кулака

Свободный Веснушка, наивный дурак, повествование, слипшееся в покетбук
Это хомо советикус, которого долго дрончить будет шлюшка-перестройка
За двойки, за смазливое личико, за девственность и красоту
Всё вплюёт в scarlatinu изогнувшейся коромыслом очереди,
Вотрёт в её бетонный хребет, размажет, выплюнет стружкой волос

В Сети бродит видео, как Хоха, Тото и Веснушка справляют тризну
на могиле Паутиныча,
Чью куклу выкрали из Чапыгина, б —
какой-нибудь грязный фанат с кучей денег,
Построенных на менструальной российской крови,
на блевотине наркомана с пятого этажа,
На мёрзлых старухах Мавроди

Чем не метафора счастья?
Лучшего из миров — безумия, когда остаётся только островок памяти,
в котором всегда оказываешься

Как в фильме Тарковского
В океане дерьма, белом, как та горячка
Мои субличности, мои граждане сердца, к вам в любви признаюсь!
Вы мой корень и цвет, иголка
Путь проклят и свят
Над вами сочится луна, летом особенно белая
Всё во мне — гниль и тяжесть
И только они, эти птицы гнезда в никуда
Всё спуют, всё летят
От рамки к стеклу
И мухами поздними бьются

* * *

Д. К.

Небесный полк и колесница
Потоки воздуха, срывающие шарф
И кандалы в пыли своих окружностей
Что может быть прозрачней голубого?

Не свят и не исход
Лишь ток по телу медленный
В сиянии границ, отточий
Коробка пустоты

Всех слёз не выплакать, когда полна вода
Небесной голубикой

Я медленно прощаюсь с хрусталём
Под песенку БГ
Под медвяные жернова заката
А ты молчишь, не говоришь ни слова
И в сердце вместо крови вата

* * *

У солнца, кажется, есть хвост
Летом он выбивает пыль из деревьев,
Ложится всей тяжестью воздуха в объёмы дворов,
Указывает на север

Зимой хвост вяло передвигает снег
Мутит морозной луне дно ночами и долгим вечером
Когда стынет его костяная основа от медленных слов
Хвост засыпает, чтобы не сказать хуже
Недвижим

Летом хвост стоит торчком, как кость в горле
Закаты его страшны как пламя в торфяном болоте
Хвост солнца волочится сам за собой, пытаясь согреться
И всё в обморок вокруг погружает
И зной зловонный

Зимой хвосту хорошо, он цокает льдинками луж
Приценивается к рождественским распродажам
А всё же жалко, что он так неуклюж
И летом, и зимой он недоволен своим нарядом

* * *

Л. Я. Либину

Умер доктор, опустел белый халат
Объём, гревший когда-то хлопок, стал невесом
Теперь его не отличишь от воздуха, что проходит через полотна штор
В кабинет, пустой, как всё, ставшее серым
А он умел всё делать белым

Белыми были его дела и мысли,
Друзья и больные хором молчат по нём
Теперь в чёрное погружён их сон
Странно, что собственную смерть он не смог сделать белой
И халат висит, потеряв объём и тепло
На вешалке в его кабинете

Без человека, как без пространства,
Время не знает, куда ему течь
Что заполнять, что исчерпывать — ветер в бессвязности тонет
Человек, умевший всё делать белым, уходит
И навсегда оставляет воздух прозрачным
И мрак сторожит кабинет

ТЕКСТ, НАПИСАННЫЙ ПО ЗАДАНИЮ ПСИХОЛОГА

Я курю потому, что в четырнадцать лет, когда я начал это движение
Мне было по хер. Мир целовал ступни мальчишеских ног
Я нёсся стремглав, попивая пиво в сквере у Измайловского
Не рисовал то, что надо было рисовать
На занятиях по рисунку, а просто сваливал, курил и потягивал пиво
Солнце лобызало запястья, щёки, щетинку ресниц...

Теперь я забыл, отчего я курю
И когда чёртов психолог спрашивает: Пётр, зачем вы курите?
Мне нечего сказать

Мир потерял очарование, мглу непроницаемых значений
Я давно не хожу в сквер на Измайловский
и не тусуюсь с дворовой шпаной
Не пою матерных песен Летова, не сцеживаю слюну под скамейку
Давно первая утренняя сигарета не приносит приятную ватную тяжесть
в растрепанное от долгого сна тело

Я не знаю, зачем я курю, живу, просыпаюсь по утрам
Мне по-прежнему всё по хер, но уже по-другому
Больше нет отчаянности, осталось отчаяние
Простое голое больное отчаяние,
Не растрепанное шпанливое пубертатное
А угрюмое тяжёлое, отчаяние стареющего мужчины
И ни одной причины ему быть нет
Просто всё обрыдло и хочется отдыха

Поэтому я и курю

* * *

Л. Д.

Какие-то нити, хруст сухих веток
Хрусталинка на ветру
Бьётся-бьётся, сейчас разобьётся

Нет в бору ни сосенки, ни осины
Одни тополя, похожие на тот, что посадил лет в пять
На территории детского сада

И что-то ещё в декабре,
В гнилом листе ноября, в склейке апреля
Время съедает деньги, бензин, топливо дней
Ночью оно возвращается снами
Так колесо вращается, не остановишь

И ничего не вернётся, никого не догонишь

Между стёклами пыль, чернота
Между первым свиданием и последним
Голубизна и солнечный свет,
Делающий прозрачными помыслы, чувства, осоку нежности
Губы на тёплой чашке
Оскомина сахарка

Сварка обиды, непонимание, нежность опять
Вспять реки и звёзды

На руке, на ледышке кожи
Остатки луковицы прикосновения
В такие минуты шепчешь ему, кому-то:
Останови сомнение

* * *

Солнце скатилось в канаву
Какой крокодил с надписью «Хой!» на спине его скрал?
Так хорошо просто лежать на матрасе и пялиться в сон
Наяву бывает так же нелепо и вязло,
Как в сумеречном мареве бессознательного

Ничто не может изменить хода жизни
Кто-то верит в судьбу, как греки
Я же верю в волю, но у меня её с ноготок
Поворот хребта означает перемены
Где они, революционные всходы потуг,
Каждодневной работы по переустройству
И борьбы с энтропией?

Заполдень солнца нет
Его в этом городе нет постоянно
Какой крокодил с надписью «Хой!» на спине его скрал?
Наверное, я зря поменял район со спального на центральный
Здесь недалеко жил Блок
И лоскут был натянут, и гопники той стороны времени
Штыком прокалывали серое бессолнечное небо

Я здесь чужой
Солнце лишь где-то давно
Где-то на пологой крыше девятиэтажки
Где кто-то намазал вонючей краской «ГО»
И красный значок «Анархия», похожий на губы
Старшеклассницы, что цапал в подъезде

Где вы, солнечные вёсны?
Где вы, канавы, полные заходящего света?
Где вы, бумажные письма и самолётики?

Крокодил в гнилой луже жуёт огрызок созвездья

* * *

*Не верьте пехоте
Когда она бравые песни поёт*

1.

Во все концы дождь, август пшеничный и поле разрыто воронкой
Краюха тепла, что из раны багряной, на солнце особенно жарко
Пуля полюбит — не спето, лишь ворон в сторонку далёкую сгинул
Там крест над взрыхлённой землёй его ждёт
Все, что от мира — умрёт в это утро, такое дождливое, тёплое
Солнце сквозь тучу ласкает обугленный труп у кривой железяки
Фосфором сыпет луна

От вечера к вечеру прохлады всё больше на жёлтых полях
Всё больше запёкшейся крови в гнилой тишине
На поле молчат валуны самоходок
Стрелять уже некого, ворон садится на крест
И коготчком выскрёбывает по берёзовой тушке:
В мире одно только горе и радость,
Но радость в соседней деревне, а боль нам досталась сегодня
От воздуха, гарью болящего,
От ветра, по краю скользящего
Привет всем врагам и сестрѣнке,
Чьи горем запѣклись глаза
Взрыхлённой земле всё равно
Август пшеничный покроет
Всѣ, что не сделано вороном в этой постылой земле

2.

Из покрышек и сажи, из алюминия
Из земли, разрытой и сухой, как в стужу твёрдой
Плетутся один за одним эти дни

Животный светлый дух квартиры пищит и просит ласки
Но что могут дать пальцы, растущие из ствола, покрытого мглой?

Черны дела твои, белое солнце октября
Не греющее, но дающее видеть боль и унижение смертных
Маленьких ожесточѣнных людей

Электричество, пока оно есть, немного скрадывает темноту того мира,
Который всё ещё болен и никак не может откинуться, возвратиться в Нун,
В сладкий щербет всеобщей дремоты
Где мальчишка Лермонтов видел птичий голос,
А я вижу только боль и сажу

Невыплаканными плодами деревьев —
Всё опало, сгнило, и никуда не ушло
Ни в землю сырую, ни в воздух прогорклый

Обглодан и прям
Стоит столбом бог ненависти и раздора
И горло сочится кровавой слюной
И подбрюшие рвётся
Иглой не заштопать
Не вмять сапогом
Не разрушить

Животное моей крови
Хнычет у ног, прося ласки
Но что могут дать руки, лишённые оружия
Что могут дать дни, лишённые пощады?

3.

До края земли брезентовый склон
И в небо упёрлась построек кривая кость
Ты стоишь с АК-47 на фоне ветра, грязи и непроницаемо-белого неба
Лишь оно может принять то безумие, которое распростёрлось под ним

Деревья почернели от сажи и кивают в сторону редкого солнца
Оно не способно согреть самый крохотный росток в этом поле
Осень, и всё умирает, включая людей
Они как деревья лежат по канавам, не брошенные в сплав по реке
Не примет их Харон, не примет Осирис

Только на подушке, где-то далеко, где воздух не жжётся током
Плачет дочка, ещё не понимая, отчего, грудная, в разверстыи простыней
Мама её успокоить не может, сама погружённая в полудрёму тупого чувства,
Совершенно не похожего на боль, а похожего на ничто
Не буддийское благородное
А ничто подпольной пыточной,

Где кровавые пятна на теле не такие жуткие в сумерках,
Из которых лепится окружающее,
Не растворимое в наших словах

4.

Снег упал на погон
Тишину раскромсал взрыв за деревом чёрным
Красных ягод озноб
Что-то рано зима, да зачем нам погода,
Когда пулями плюёт горизонт?

Осколки снарядов взрыхлили снежок
Метрах в пяти упал, поскользнувшись на ветре
Только лежать в этой белой пыли
Крошево звёзд или солнышко слеплое
Кровь на погоне
На белом от снега погоне

Камуфляжные дни,
Беспробудный треск веток и сажки замаз
На машинах тюки, в палатке все кости сморозил
И жратвы нет давно
Только питаться углём
Сажей, сажей промазать глаза, чтобы белый не сыпал

5.

Ложью припущены эти глаза
Красная ткань щёк шелушится на мокром ветру
Щетина и мертвенный свет разрушенной многоэтажки
АК-47 притулился в углу как кирпич
Как девочка, которую только что растлили
Как это время, загнанное в мышеловку

Даже когда светит солнце
И с другой стороны Земли всё хорошо
Не верится, что он существует
Пьяный солдат, не знающий боли
Не принимающий слёзы
Не обедающий и не спящий
Только кровь на его зубах выдаёт в нём живое

Само живое здесь стало развратом
Сам свет и деревья здесь пахнут сажей
И коза на гнилой верёвке орёт о молоке
Которого уже никогда не даст влажная от пота земля,
Принимающая этот позор

6.

Кофе пенкой потёк
Красных глазниц кругляшки на мягкой от влаги коже
Лады моего вои, не спите в это тревожное утро
Плач из пелёнок вам грезится в сонных ещё головах

Там за краем прострел
Ветер мычет хиновьскыя стрелки
Встанешь — будешь убит
Каска ржавеет на взгорке с дырой
Ржавой нестрашной дырой
И, кажется, не было в ней головы

Всё как всегда, птичка летит по делам
В луже осколок нетёплого зимнего солнца
Снег чуть тронул разрытую местами землю
Брезент

Кто-то сушит бельё, кто-то варит паёк
И собака глотает слюну на морозце особенно сладкую

Только знаешь, что там, на другом берегу, на краю
Кычет, плачет жена, не добравшись до пенки
Потому что глаза запеклись
Потому что не то в голове
Голова к голове
Где-то в небе, где звёзд заржавелые дырки

7.

Где монолит разбит снарядом, прилетевшим со стороны поля
На покосе — сентябрь,
Солнце в осколках линз, на пятнышках крови
Убитым не поставят памятники на рубежах
Гранит и металл не примет их чёрствые кости

Всё, что видишь, останется в этих зрачках
В искривлённой кирпичной стене
С пробоиной в теле
Где бетон, там и серое рыло войны
В развороте гранатных ошмётков
На слезинке солдата держится праздник покоса
Там, где рожь и ячмень
Где гуляет неведомый суслик среди грязи взьерошенной сумки-земли
Всю на плечи подняв, танк её разломал
И последним обстрелом накрыл

Суслик прячет глаза
Чтоб в зрачке отражался лишь тыл
Лишь бронзовощёкое солнце сочилось, не кровь
В линзы зверя
Человече, зачем тебе этот
Необстрелянный край?

Всё во мрак опускает затвор
Рвётся к ночи
Голосов занебесная песнь
Что-то где-то поймав, ухо словно диктатор
Наполняет сознание мглой
И поёт на посту часовой

* * *

И вот я думаю: куда бы запропасть?
Треснуться обо что?
Молчат переборки созвездий
Когда темнеет полпятого, уже не до шуток

Чтоб оно всё разломилось
Рухнуло на ещё живое шевелящееся тело
Безумием обволокло, не знаешь — что лучше
Или взорвалось рождественской петардой,
Испугав старушку, плетущуюся в «Пятёрочку» за углом

Пространство сжимается и медленно пульсирует,
Выбрасывая отработанное
Этот шлак и есть ты
Где было мокро от слёз
От хрипоты, от судороги
Теперь только страх

Страх это не то, что можно ощущать
Это нечто меньшее
Через его отжим не проходит то, что могло бы
Вот этого [того, что могло бы] как раз не хватает
Не пускает
Страх

Вагоны созвездий вздрогнули и с железным скрежетом тронулись
Как бы разломить ход вещей,
Как бы вернуть солнце,
За которым отправилась старушка с первого этажа
За угол в «Пятёрочку»?

* * *

Горло, ты говоришь
Если в голове сор, ты извергаешь пустоту и хлам
Но если танцует солнце в последней чакре,
Если храмовых покрывал аромат с лёгким привкусом тлена
Если Будда стоятый сидит у подножья и ждёт новостей с юга
И листы облетели
То горло, ты золотая лава

Но так ли это?
Не соврал ли я?
Если в горле чума, средневековая плесень
И тьмой опоясан берег
Шершавятся мыши
Сова ими сыта сегодня
И большего ей не мертвить
Если пометой бубенчик
И звон его горло простёр

И чакра последняя медвяным светом исходит
Но горло её как ножом разрезает на ветошь

* * *

Ошибки совершает каждый, они точат
Когда стыд разливается по телу приятной тяжестью,
Никотиновой волной,
Ничто не говорит о том, что может быть как-то по-другому

Всегда какая-нибудь мелкая деталь,
Как царапинка на виниловом диске
Не даёт игле идти мягко,
Пропевая настоящее как гармонию,
Как точку баланса,
Как неизбежное становление времени

Всегда сбывается неудача
Ошибка это я сам
Та диафрагма, которая расщепляет субъект,
Вынося за пределы острова одиночества усталость
и тоску по побережью,
Хмурую осень, гнилую совесть, невстречу с человеком,
Рядом с которым было бы легче

Ошибки совершает каждый, они меняют
Выползают белой гусеницей в середине зимы
Вспархивают с поверхности повседневности
Вырастают траншеями непонимания
Разделяют на до и после
Скукоживают память
Расслабляют
Заставляют совесть быть
Ложатся под колёса наготы
Вещи в сланцевой оболочке
Оболы в кошельке с маленькой медной крыской

Всё в топку случайности
Всё из сетей ошибок и глупых провалов
Как будто бы ровного и нет
Может, и не надо

* * *

А. П.

Когда прободает чувство,
Пелена вдруг в ветреном схлопе ложится мокрой коркой на лицо
И всё это в слегка морозном воздухе, где кружится снег
И собака виляет серым хвостом
Тогда хорошо

Хорошо надеяться на какую-нибудь малость
На ложку мёда после горячей ванны
На холст в галерее
На утреннее молчание
После долгих объятий и всхлипов

На кожу, ведь язык — это кожа
Мы трёмся телами, делая лингвистику
Мы соприкасаемся и стираем губой солёное покрытие тела
Чтобы лежать и думать образами

Как мне назвать тебя, негромкое зимнее чудо,
Чуть заглянувшее в трепете утра за простыню отчаяния?
Мокрым ветреным схлопом внезапно осевшее на колючие щётки ресниц
На пальцы, тронутые морозом
В объятиях крупных снежных хлопьев
И собаки совсем не было
Я просто придумал это серое милое существо
Ведь язык — это кожа
И где трётся — там больно

Но было ли больно?
Или: будет ли больно?

* * *

А. П.

Бумажной джонки лёгкий свет
И бриз от берега куда-то далеко
Зачем румяный бок подставил я мечте?
Зачем заволокло луной ночное небо?

Я одинок и счастлив
Далёкий колокольчик
Смежает время с горем пополам
И золотит восток

На дне крылатой рыбы тень мелькнула
По мне проходит Уробóрос
Он через рот сосёт колени
Он чешуёй трепещет в жёлтой пене
И это хорошо

И хорошо, что рядом нет тебя
Змеи укус не краше поцелуя
И рыбы звон серебряный
Не сохранит тепло разлуки

Там, в небе, далеко
Мне снятся твои руки

* * *

А. П.

Шебуршание крыл на неминных полях
Веточка гнётся под голубым небом
Страх отступает, когда слышится лёгкая поступь солнца
На бахче отдыхает арбуз полосатый
Хорошо, когда в сердце бубенчик
Когда примяты листья
И влагой исходит земля

Сады далеко, всё поспело, свалилось в разлом тишины
Урожай красен к осени, но она наступать не спешит
Вечное солнце под вечным небесным покровом
Так и мне хорошо, когда слово одно в середине груди

Помоги всем болящим, небесный огонь
Будь расположен ко мне, когда мне уныло
Когда горячо
И жасмин белой веткой ложится на голую грудь
По весне, когда отступают снега

В эту ночь не уснуть

* * *

А. П.

Поверхность меняет цвет
Где ландыш прохладный лежал не дыша
Там мокро, там тонкая плёнка разлуки
Покрыла дома слепоходым снежком
И кожа распухла от влаги на мертвенном солнце
Зима, дни лютуют

Ты манишь и грезишься
В тусклом пространстве не видно волос
Не видно сомнений и скрашенной горем мечты
Всё дальше зыбучие песни, что пел мне слепой ветерок
Декабрьский
Мысли навеял, пропал
И только печаль впереди

Вернёшься весной ли?
Когда отступают снега
Когда все ветрила под небом стоят молчаливо
И дремлет ещё вод патлагих седая дуга
Что-то в ней бьётся уже
Рыбка снуёт сиротливо

* * *

А. П.

Касание невозможно
Не вымолвить даже огромную букву Ы,
Которая, казалось, должна от тяжести пасть на землю
спелым жёлудем или сливой

В различие тайна ума
И ты, как кометы путь, гнутый, пряма

Что сказать тебе не могу, намажу
Что не выронить глазу, не впрячь в повозку, двуколку
То колкой мышцы будет молочная кислота
Диета и что-нибудь вроде казни
Ты молчишь, потеряв слова

Дай надежды небесный мел
Дай растопить льды горячим дыханием
За щекой его закрома вольны
Подвергаешь пытке лишь
Огорчаешь молчанием

Не только ёж животное несносное и прямое
Ты как нож не прерываешь своего покоя

* * *

Сайбирии тяжёлая дуга
Утюг красот российского предела
Не отделяет ног от тела
И точит рифму возбуждённый волосок
Из траурной ресницы, из кошелька задумчивости

Всё в пространстве осело
И тревога тревожит болящих
Тело без ног провожает в унылую мглу
За ларьком ссыт мужик
Так, не муж, а пацан желторотый
С кепкой «Street» на боку
Прыщеватого лба
И картина сложилась в озноб всероссийского флюса
От боли, что прячется в шкаф, когда мама идёт
И плюёт сквозь подол желтоватая курва луна
Всем шансончикам друг, волосатый степной ветерок
Росчерк пыли вздымает, от зим и от прели чуть белой
И озноб недалёк

Раскромсал этих финнов и тюрок оброк, что заплачен с лихвой
Воеводе-болоту
И упырь на плакате пятном чередит триколор
Всё нам трактор — судьба
Он работать за нас по отвалу каналов спешит
Ну а мы коромыслом сайбирским почёсывать лоб под дугою иной
Под лекалом Китая, под солнцем его небольшим
Хорошо, что весна нескончаемой осенью гложет

И порожек — предел
Спотыкнись, вороньё
Когда мимо бежишь из засаленной небом реки
Пробеги и по нам
По костям, по разлукам, по хворосту бабушки-печки,
Что спекла тебя, хлябь и простор
Ворон чёрен, да короток спор

ПЕТЕРГОФСКАЯ СКАЗКА

А Пётр сидел и ширил очи вдаль:
Из кабинета
Был виден геометра луч прямой
Он сонное сознание шевелил
Усамого диктатора

Простых предметов толк
Не разбирая чины
И в забытьи спихнул царь на пол лист
Чернилами изляпанный
Лист тоже в план вковал
Все запятые, разложив на луч
В сознании Его
Все предложения абзаца

Луч тербил простор
Он прямо шёл к воде
Через фонтан, что перпендикулярно
К земле приложен был пронырой-итальянцем —
Всех макаронников мечта сбылась:
В завьюжной степи,
Болоте и ногах промокших
Под каблуком зари немеркнувшей
Белесой поволоке этих мест
Танцует парубок из мрамора
Чуть тронув деву вод
Царям на зависть европейским

Пётр сделал, что решил
Прямой не гнутый луч
В его сознании горел
Железный трон Московии
Он к морю сдвинул
Где Грозный был,
Там чёрный мрак покинул
Пределы зим и вьюг
И луч бежит на мокрый юг

* * *

Ночью проснулся от сквозняка
С Жёлтого потока разило нежитью
В дверном проёме показался фантом
Как назвать этот сгусток недоброго воздуха,
Вломившегося в часы досуга в дом?

На четверть часа я был лишён сна
Комар пропитал волны покоя воплем
«Жиг-жиг!» — говорила его игла
Он жёг мой висок попеременно втягивая крылья
И источая стоны и крики писклявые

Я осознал:
Это моя покойная бабушка в сумраке покрывал
Внедрилась в комариную плоть
И тревожит мой сон
С Жёлтого потока ветер, шквал на берегу мёртвых
Она вошла в мой дом походя, без всякой цели
И заметив моё сонное положение,
Положила конец молчанию и тишине
Разразилась скандалом,
Тревожным кружением, почёсываниями и вскакиваниями,
Всеми приметами негодования,
Взламывающими сонный рассудок,
Его ночное скольжение

Бабушка-комар,
Не дыши
Не волнуйся, не плачь так пискляво
Рана твоя глубока,
Глубоко покойся в земле
Не тревожь тишину во мне
И будем квиты,
Оставь мои сибариты!

* * *

А. Е.

Пленэр тюльпанами горяч
Андрей, художник землеротый
Со дна ложбинки носом зачерпнул
Пригрев хорош
Лишь ветер злой крутил листы,
Прикрепленные крепежом за пять копеек
Из «Буквоеда», видимо

Пленер тюльпаном пах
И лодки на ветру качались
Сквозило солнце разною листвою
Как свет выделявает тени
И краску в мертвенный каркас
Чужих стихотворений

Гоген уехал далеко
И Васми кажется далече
Андрей бейсболку натянул
С моей побольше головы
И погрузил мелок в строку

Его слова не пятна не вода
Его слова — сознания слюда
Он говорил, что надо разучиться
Рисовать как попало надо
Забыть ряды
«Зелёный» только слово
Внутри один объём без оболочки
«Ноль» Хармс считал не тем, что есть
И можно посчитать
А тем, что заново рождает смысл
Или стирает — проще говоря
Когда по матери ругаешься и забываешь
Что надо что-то делать
Тогда событие само
Сухим рублём в твой стылый кошелёк
Ложится

Ещё там были птицы

* * *

А. Е.

Красот малиновый и алый
Лишь трепещи, когда срывает ветром лист
Под маковками и камнями
Под шумною листвою июньской
И напрочь голод и покой
Когда два беляша за сотню
В кулинарии у дверей в Эдем

Мы пили чай и хлопотали наши губы
Я славу Тео посрамить мечтал
Продвинуть наш талант, чтоб купчик покупал
В подрамниках святые беспропутя

Не дремлет слава у плеча
Мечом нас бедность гонит
Из рая в ад скорбей и нежных поцелуев
Тишь темноты

Художник, ты — предел
И строй свою хибару
На лоскутках материи иной

Да будет этим летом милый зной!

* * *

*Я так один. Никто не понимает
Молчанье: голос моих долгих дней*

Тревога, спутница
Твой полог покрывает каждый вечер
И голубой простор погас, дождём сменившись
Как грустно одному, когда не позвонить
Все заняты собой и суетой
И птичка бьётся о свою лучину,
Потухшую в проточной тишине

Лишь сигареты дым
Лишь книжка про художников, застывших этот город
С его чредой дорог в пустыни красоты
Такой мертвящей без людей и их полотен
Лишь нищетой богат пророк
Глава жандарма отсекала
Усы двум смехачам, затёкшимся в траву
У Стрелки

Если сесть на автобус
У ЗакСа
И проехать маршрутом знакомым
Всё покажется маленьким гетто мечты
Сотканной из пустоты
Из чернильных и призрачных ртов коммуналок
Со стихами и красками
В них подыхает жнисьё

И на стук отвечает
Голубиное их вороньё

* * *

Под сердцем птенчик задышался
И горлом город шёл, туманом и гнилым
По серому асфальту ночью белой
По выщербленным меркнувшим панелям
Ступеням, дням, минутам
Все стрелки крутятся назад
В гундосую трубу того мгновенья,
Когда на Петроградку переехать я решил
И так судьба вела

Здесь свет не обесточит этажи
И каменных заплат покатый шорох
Над мышью прогремит не зря
И струи ледяные
Дождём осаживают крик
Поленьев подложи под светофор
Его багрянец просит стоя
Стоять пока стоишь

На волжских рубежах хмельной покос
Струит Россия пальцы в чернозём
А здесь засос разлук и траурных примет
Расстрел, сапог Петра, улыбка проститутки
Зелёным напиши её портрет
Ты ей клиент, а не сосед

Маршруток жестяные колпаки
Шумят над тканью линий и уносят
Туда, где умирает чаек вал
Где маскарад черёмухи,
Предместье недосыпных бурь
И рты дворов-колодцев
Не ловят блеклое стекло
Полуденного солнца

Приди сюда, где каждый кавалер
Найдёт щепотку вешней оболочки
И строчкой лето зачерпнёт
Колор проспекта сложит
И Бог ему поможет

* * *

Зелёный на глади
И сон в этот дом не стучит
Альбом про Арефьева, следящего
за настоящим изнасилованием с дерева Волковского кладбища

Песчинка безумия, морфий, железо и дерева шум за окном
Композиция вечера тонет в пустом
Нейролептическое спокойствие,
покрывающее тревогу мерным отупением

Художник, лишённый кисти руки
Писатель, окунувший большой палец в сталинскую чернильницу
И нарисовавший лайк на склеенной вонючим клеем парте
Она в царапинах безразличия,
в плотном нейролептическом сне, не приносящем удовольствия

Время сгнило в банке из-под оставленной на ночь икры
Красным мажет по стёклам траурный сон,
приносящий раздражение и досаду
Образы руководствуются обменом серотонина
и делаются прозрачными мухами,
Уже кое-где появляющимися

На скамейке рисовать город с натуры
Шпиль или тюльпаны в розовых кружевах надежды и оптимизма
Кажется, это слово придумал Егор Летов,
Чтобы описать своё ощущение зимнего Ленинграда и ступеньки Рок-клуба,
Где скоро порвётся струна

Не громоздя события, не наплывая кадром на выморочный берег губы
Скажем просто и трезво: здесь было солнце
А теперь шумят деревья, производя сочетание железа и дерева
Серотонин отщепляется и возвращается туда, куда НАДО
И тревога покрывается поволокой ровного выносимого отупения

Конца не будет

ПЕЙЗАЖ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА

Арсению Блинову

Ласточки в выжженном небе
Вестники красоты
Как вы безутешны
Как ваши крылья остры
Малы ваши клювы
И на брезент не положит песок
Зари, обогревающей море и землю
Каждую скважину полотна
Негрешным нелепым поворотом,
Прожилкой тонкой горизонта
Когда обвал тишины в утреннем непотребстве зелёного и голубого
Когда шипы всех растений срослись в мавзолей
Не пой мне песен, июль, ты враль бесконечный
Сентябрь уж грозит постоянством холодной погоды
Ласточки, ласточки
Грейте свои слюдяные глаза

* * *

Бледный сентябрь, туч мерные пашни
Железо под небом гниёт и становится краше
Закона каркас растворяется в куче трухи
Что сыпется к новому году

Тогда и железа исходит предел
Где белое, там закрома пустоты
Отец как погон недоотпоротый виснет с плеча
Кровь белым мычит и не хочет покинуть свой кожаный кожух
И жизнь как иголка и бритва, то слышно спешит
То тишиной остановок наводит на грусть

Железный отец говорил: будет слаще закон
Того, что под ложечкой стонет в ночной полутьме
А я и сейчас с недоверьем
А я и сейчас хризантем
На последние деньги куплю и отправлюсь куда-то
Где нет ничего, где песок и трава
Железо гниёт в городах
И смахнуть его с веток не просит

СОН ВЫБОРЖАНКИ

Т. П.

Шла твоя юбка, шла одна
Лишь тень её по камешкам скользила
Над речкой в три локтя, которая текла с востока к северу
Её холодные колени
Мурашками бежали по ногам, которых не было

Встречал в избе старик, смотритель тел
Животных, что паслись во мраке
Не мраке, сером молоке каких-то долгих и болезненных смерцаний
Как будто огонь погас и тлеет труп лучины
Над озером, покатым и ребристым
Которым был тот холм и неба клоч над ним

Бежала девочка одна, в которой матери лицо
сквозила через все разглаженности

Уши и затылок
Комок волос
Ключицы голубые
И торс, как две сосны срослись
Всё поминало время перехода
Из стадии взросления во взрослость
И возраст был двойной
Как будто мать
Не старилась тогда

Она коленкой прикоснулась
И пяточкой в сандалике зелёном
Из грубой толстой кожи с гвоздиком для скреп —
И стала ты тогда совсем другой
И боль холодной ниточкой пронзила
То, что было телом
В другом ключе
Как будто воздух — это проводник
Того, что есть
Туда, где нет

И хмурил брови дед

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЛЁГ НА КУШЕТКУ В КАБИНЕТЕ ПСИХОАНАЛИТИКА

Тяжело открывать неподатную дверь
Где скрипит и гниёт железо, не знавшее добрых рук
Предательство зажало в сцеплении времени
Год за годом недуг прибавлял очки команде зла
Здесь цветы не цвели, землю смыло водой

Хорошо оказаться на первой ступени
Подвига, равного тысяче
Подвига, лишённого логики и связи с прошлым
Новое проникает в железо и плавит его
На бруски, на канаты пойдёт патина и желчь
Павлин распускает хвост

Не просто скользить по поверхности, не опускаясь на дно
Требуется трение, равное головной боли,
Равное количеству снов в плошке ежесекундного страха,
Отчаяния и скорби, разлитой нефтью в заливе «Сейчас»
Тяжко и трудно тропой тащиться

Минус осень, добро пребывает в корыто сентябрьской непогоды
Тревожные листья с их мертвенным сладким запахом
Осторожность на дороге, испещрённой невидимыми следами гопников,
Алкашей и бродяг, не требующих, но входящих в поле зрения
Светофоры и зебры
Бетон и железо
Стекло и подранок
Стань буревом великолепного бунта
Стань священником паствы листьев и долгих ступенек
Наверх, где слаще

ЭЛЕГИЯ ОКТЯБРЯ

Воодушевление.

Каких-то тайных сил, дремлющих под наркозом

Ломкая твёрдость

Когда горлом идёт разговор и кнопок созвездие манит, не отставая

Тогда прогорклой октябрьской мляки не страшен укор

Суровость цветёт гладиолусом на побережье любви

У мэтра на даче с отсутствующим туалетом

И в банке потом догнивает

Сегодня парад красоты, шуршание по подворотням

Из сломанных веток ивы и точек дождя

Тревога ушла, проросло благочестье

Отчаянье белой таблеткой покрыто

И батарея воздух покойный влажнит

Нестерпимо охота на льдину любви и добра

На ложе из горя, переплавленного на слова

На минуту понимания, заброшенную как удочка в оконце чуть светлое

Греться где, и куда ему деться — сквозь сердце

* * *

А. П.

Тянишь, ниточка, топчись, палочка
На шестке зари ранней солнышко скрыло боль
Таких чувств дырочка, таких чувств очумелых дырочка,
В которую скатится золотым блином осень
И варежка сменит дом

В пуху клетчатом, на желтизне полдня
Из рук сигарки не вынимая
Вся соль затрещин твоих вымолвить просит
Не иссякая в слове, не понимая — предчувствуя что-то
В саже полночи, в сапоге кожаном

Из уст вытечет, из рук выпустит
Палочку в ад кромешный возвратить попыташь
Та, что в чешуе выселок
Не принимая письма, повзрослевшая
Говорит шёпотом, звук от края
В сумерки покидая

Из рукава в пшеничные горизонты
Льётся зелье луны и края тьмой нагибая
Она и выше, и звонче, и, кажется, тонче
Того, что сыпется за окном,
Всё покрывая

В ОСЕННИХ СУМЕРКАХ

«Депрессия» — слово, значение которого остаётся неясным
Что-то механическое и жёсткое, связанное со звоном склянок
В пропахшей зелёной прививочной...
Как скормить фантазии этот день, ведь накануне не мылся?

Обида-обида, похожая на оскорбление
Когда садистический паттерн страны,
Сковывающий взгляд психиатра
Говорит тебе: ешь
Ешь всё, что даёт государство, белый цвет халата, осень
Осядь спиртом на дне сопротивления
Не паникуй, не кури, не чешись и не расковыривай
Просто принимай препараты
Они от зноя внутреннего

Давление, алкоголь запрещён, только кофе по 45 руб.
Заварной, с тягучим привкусом аминазина,
Катаракты, скорби, волшебства и угрюмости этого дня

Над Петербургом низкое небо
Всегда-всегда-всегда
И чтобы его разгадать, не запачкать, не вляпаться, не отвергнуть
Принимай препараты по расписанию
В три часа дня и на сон грядущий
В квартире, свободной от моли, запаха, чернил и сосисок

Ватная прелесть номенклатуры очевидных вещей
Бельё в скошенном барабане
Сумерки, усиливающие тревогу и приносящие тень сомнения,
Испепеляющие блаженство, надежду и мерную поступь,
Вкручивающие болтик в гаечку, дырочку в нолик

Голос чести, голос голодания, голос немойтой головы, её волос
Поэт Нельдихен выглядит лучше Н. Гумилёва,
мэтра и мужа, террориста и мученика,
Тверёзого и длинного, в осеннем пальто, не умывшегося и разноглазого,
Как сказала Одоевцева,
Как выцарапала на барачной койке, диване,
дачном стуле и письме другу его первая жена,

Горбоносая татарка с изящными манерами Минервы
То-то будет в январе, в снежном холодном январе за стеклопакетом,
При тусклом свете энергосберегательных ламп
в отсыревших от горя плафонах

Отчаянье, признак и спутник,
Холера и бунт — одиночество
«Депрессия», звонкое слово
из словаря похмелья небритого грязного человека,
Маленького, как мысль, резвого, как булавка
Всё больше хмурого, никогда не ёрничającego...

А всё же Георгий Иванов хороший поэт!

[Я САМ ПОДАРОК]

Иглою по старомодному негативу холодного дня
Солнце ползёт,
Над пеленой непролазных туч

Зачем сидение в коробке из-под подарка,
приготовленного неизвестно кем
Неизвестно в какой подпольной пошивочной
С бантиком или дырочкой
На День рождения или Новый год

Ты был маленький и болтался, тебя качало Время как в колыбели
Исходя из потребности в гормонах
Исходя из потребности в Революциях
Слёзы и бунт и сладость поллюций

Теперь ты стал кашей, вываливающейся из коробки
Из коробки, в которую вместились ожидание,
В которой праздник ещё не нарушен
В которой лев для слабого зайца

Ты лев или заяц? — спрашивает бородач Достоевский
Ты заяц или лев? — вторит ему уса-утёс Ницше
Лев в зайце, вещь, подарок, не вскрытый и забытый
под вечной кремлёвской ёлкой
Голубой-голубой-голубой

Формула предательства: потешиться и бросить
В окно, на помойку, как куклу без глаза и ноги
Лишь её ржавый голый пупок в предрассветных снах —
Поллюция

Даже неработающий холодильник мил поэту,
А ты плюнул, забыл, растёр, изломал, скомкал
Ты был лев, я был — заяц

Тусклый пятичасовой свет осенний
Октябрьский мрачный период,
Когда солнце ползёт сквозь непроходимые заслоны,
не отпечатываясь в утренних льдинках

Как нужен ты был, как просто всё стало:
Лежать как говно посреди помойки
Ласково обёрнутым в коробочку, из которой нет исхода
И никто не может знать, что внутри, пока лента горит

Есть во мне что-то, что нельзя сломать
И подарок в каком-то смысле всегда будет свеж
Он просто есть, как присутствие, как космос, как боль, как то, что за Майей
И ветра обдувают последнюю хризантему в саду садовника Ильянена,
Заставляя его благовет

Солнце и отражение оногo в окне отшельника в кожанке мокрой одежды,
Вернувшегося из зимнего сада на краю дня, такого эфемерного, как подарок
Подарок любви, подарок надежды, подарок от всех и для всех

И лента горит

МЕРКУРИЙ, БОЖЕСТВО СТРАХА

Но божество страха говорило, прикусив одеяло:
— Я Меркурий, подобный чёрной пустоте, из которой рождаются мухи
В твою каморку без карлы я запускаю крюк
В твою подушку без отдохнувшей щеки я опускаю жезл
В твой горизонт, которым стала кухня, я просовываю грязный свой палец
Я сажусь и давлю, не давая шевельнуться мышцам, словам и делам
Я всегда рядом, я не спасаю, я только икаю

Но другое божество я хочу подчинить себе
Светлокудрого Аполлона, сидящего на гнедой
Он капризен и непоследователен, только моей иглой
Можно проткнуть его брюхо лишь иногда,
Когда хватает сноровки и смелости,
Воли и вдохновения,
Когда Меркурий ложится спать под своим дрессированным пауком
Я обнимаю бока Аполлона тайком

Есть ещё божество — Любовь
Оно пасётся где-то за горкой
С ним потеряна связь, моей дырявой руке
Не схватить его, Аполлона лишь крылья хватаю
Они нежны и упруги
Но чего всё это стоит, если нет у меня подруги?

Три божества мне снятся каждую ночь
В осень стеклянную, в мусорный ветер,
В дождь и озноб,
В предсердие ломаются чередой
Волос и запахов,
Распахнув ресницы
Лишь морозок ощущаю на кончиках долговязой спицы,
Пеленавшей меня вчера
Сны-сны-сны
Такая теперь игра

* * *

Шла по воду земля, кружилась белизна
На пальцы января свои кривые руки
Накладывал декабрь древесный
Из чернозёма почв белесые цветы
Ещё не смытые водой, в которой оборот
Росли, не запах источая
А только гниль и свежесть кирпичей

Проталина тяжёлой крышки люка
Свободная от слов
Свободная от ног
Читала мне стопу по прорезиненному дну

Где дно, где голова, не знал декабрь
Он руки вверх тянул, листы не распуская
Какие к чёрту в декабре красоты
Лишь белый хлебушек пурги
И гнёзда жжёных пчёл, буколики белил
Так редки силуэты птиц
И птицы всё грязнули

На пастбище площадки
Дети пили пиво
Не холодно им было в рты
Вливать хаос луны высокой
Ведь холодок её удел

Я ж солнцем грезил
Высушиться мне бы

На колесницу января
Вскарабкивался очередной вальжанный
И в меру трезвый день
Они ползли как танки
Из передачи CNN
Сминая греческий каркас тачанки
Гнилого Феба с фиксой и шажком
Как в мультике про волка

День был гол и свеж
И мне сиял бровей кривых промеж

* * *

Жёлтенькое, жёлтенькое
На краях ветра пшеничного
Покатилось солнышко да за тучи

Снег, снег-снежок
Высыпал ранний, чистый
На краю лучика светлого
Слезинка вечера

Дай покоя и светлых сил
Чёрных мыслей озноб
Скованность мышц
Разлив темноты отодвинь, опрокинь
Кто ты, в предутреннем небе?

На столе ложечка
Под столом крошечка
Кот трётся о древесину ножки
Хвост его вял, шерсть его негуста
Он один у меня
Ночь, тоска

Зачем придумали спицы?
Чтобы шить, вязать
На краю печали стоять одному
Ветер зарёй золотить, распуская
Соцветие утра, одеяло открыв
Рот болит от горя
Здесь ли ты, голос громкий

В детстве большой был
Ребёнок его хоронил в пространстве
Теперь одиноко кончается боль
В нём и вовне
Всё замело
В смешном декабре

* * *

К. Б.

«Тыг-дык» стучит паровоз,
Провозя по нутру шарики лимфы и крови
Золотое руно кутерьмы и ничто
Распадая в музей, провозя этот день

Там пыльцой, там жужжанием полон завод
На который спешит пешеход

«Тра-та-та» говорят закрома
Золотого шитья ещё хватит из шахт
Провози паровоз по нутру
Эти шарики крови и лимфы
Всё прибудет в назначенный час к кораблю
В дальних стран требуху и волненье
По морям по краям

Вот уж виден брезент, из которого якорь пророс
Паровоз наседлал этим грузом хребет захудалый
И стрекочет нутро, шестерёнок трепещущих взвод
В закрома отправляет руно и не требует лота

Вот и берег, вот край, вот завод дорогой
И другое руно из него
Будет этот обмен
Шариков лимфы и крови
Дорог местным аулам и весям
И тонет таньга в голубом

* * *

К. Б.

К этой дверце в закрома
Мышь бежала белая
На пшеничные стога
В жмых и пашню расписав
Воду и землю
«Всё!» сказала, и ушла

К сердцу этому прижав
Полотенце с петухом
Закатав рукав по локоть
Белым телом оголяясь
Солнце шло туда, где всё

В жёлтом саване полудня
Теплится моя лучина,
Освещая сердца льдины
Освящая дыры жмыха
Мышь наестся не может
«Всё!» кричит петух спросонок
Только вынырнул из тьмы
Тут же угли, тут же солнце,
Тут же беленький помёт

К этой дверце в закрома
Луч бежит от её взгляда
Льдины тают и плывут
Медленной водой полудня
Оголя потроха
Золотые потроха

* * *

К. Б.

Ничто не греет соцветия нежного
В самой дальней сторонке ему одному пропадать
Там не вырастет холм, под которым бежит ручеёк
С золотой бахромой, по которой скользит
Рыбка малая

Всё на плавку пошло и сердечко тревожное тонет
В тех сетях, что сплели рукава вязов зимних, гнилых
А под деревом этим всё тишь и мечта
А под сетью любовь и спросонок щегол
Кровоточит десна у него
Зев чешет тревожная влажная рифма
Но как камень озноб в этом склее встревоженных нот
Когда одиноко, тогда он поёт

А соцветие греться стремится
Под желтинку того, что вверху так неспело звенит
Этой мягкой зимы не хватает
Ей вроде не спится
Всё возюкает грязь под сопливым своим фонарём
А соцветие вдаль не бежит

Изумруд золотистый, что в глотку как шарик попал
Раскромсал мне угли и щетинит под небом созревшим
Рыбка сердцу очнувшемуся — западня
Спеть бы смело, да трогать нельзя

ПЕЙЗАЖ С ПЕРСОНАЖАМИ

«Каприз» — название освежителя воздуха,
А не то, что чувствует больной организм, тело, скажем
Раздрай в каждой букве, стремящейся выпасть
Из лунки созвучья
Из земляной норки, в которой рос гиацинт, барбарис, кровь питая

Красным мажет тюрьма, принадлежавшая футуристу
И молодой Тимур Новиков на холст навозюкать её не берёт
В колыбели обман, там где были штаны
Брюху расти, а не космам
Которые сбрили парни новой волны, романтики, чтившие красный
Он как каприз
По незнанию, в общем-то

Равнодушие. То, что источает пиджак
И хочется его носить иногда
Но каприз требует цвета нового, и вот он уже висит в мастерской
Слегка сиреневый, больше голубой
Об этом ли мечтали художники восьмидесятых?
Чтобы Пётр влюбился и был его организм, вроде тело, повреждено отказом
И «каприз» — всё, что потом осталось

Тревожит нерв внутри зуба
Тревожит волна, пограничная с тяжестью
Так физика предвещает новые краски и ткани
Уальд всё сказал и ушёл в тень,
А отпечаток искусства
Остался лежать на дороге

Футуристы — дикари в сравнении с Осипом и свежим маком Парижа
Но второй авангард — невесомый задор и жесть inferнальных потоков
Настоящее — вот что Пётр противопоставит агрессии и убеганию
По Конраду Лоренцу, чьи фантазмы легли как угли
В основание черепа Виктора Цоя
Периода «Транквилизатора»

«Каприз» — история болезни, а не дезодорант
Каприз — то, что отличает пиджак с отливом раннего Густава...
Футуризм изнемогает в складках восемьдесят второго года,

Года рождения Свиньи Панова,
Года стрижки волос,
Года, в котором нерв шебуршится двадцатого века
Как моя невозможность любить
И кладётся грунтовка на плоскость
И сажа по ней Башлачёва пройдёт

Возвращения требует боль, как закон, записавшийся в Вене
Сам собой под пером иудейского война
Что смутил все умы, пополам раскроив небосвод
Вот же где футуризм пропадал
Так мы любим не то, что дано в представлении, опыте и пятне
А то, что по краю проходит, гэбнэй зацепляясь
Система лишь чувствует боль, наслаждаясь вдвойне
Когда на закат испаряется всё:
Вода, кровь, песок
И снова какой-то бросок в красный цвет,
Который Тимур для меня разостлал,
Потребовав боль и любовь и каприз
Но лишь этим словом слукавить могу,
Дезодорант раздрочив
Кстати, он — гарь и костёр, взрыв из прошлого
Детства и восьмидесятых
Красный реет простор, красный мажет ладонь
Красный — каприз, гиацинт, барбарис
Все токи прошлого сшить в этот месяц из белых лучей

Что бы сказать Башлачёву?
Не надо!
Вьнь из гитары прокусанный нерв и не лги
Там, где разостлан плакат — только вечный раздрай
Там, где каприз — пропадать за зазнобу
А так, ни за что, за пустой кошелёк —
Не стоит, беги, щекотун, подребёрник
Пусть красный не лжёт,
Фиксу времени скроет чума
И всем всё равно
Да, пожалуй, за это —
Давай, нагибай небосвод,
Красным мажет апрель
И витает в тревожных созвездьях
Этот, шестнадцатый, вроде бы, год...

НАБЛЮДАЯ ТИМУРА

Всё грусть и порох
Когда из огня выделяется дым
И пар, и частица меня, и золотой небосклон
Так свеж этот снег
Так хочется руку просунуть
За холст, где тайга
За луга, где стога

А вот и ещё один вечер
Грусть и грусть по ту и по эту
Стекло разрезает февраль
И слякоть на сердце как некогда дождь
И молодёжь рулит на рэйв, где загнётся
От Густава добрых не жди
«Кирпичи»

Один и один
Этот милый звонок за предел
Как проводом склеен лоскут,
Распадавшихся пятен сосуд
Картина тепла, пока догорает
В мобильный шептать про любовь
Если б к женщине
Или искусству
А так, ни за что
К лоскутку за окном

На золото пар от костра
Одинокий любовник светил
Ползёт за предел горизонта,
Где фитилёк не подскочит
Там чёрный царит
За окном умирает февраль
Меня он не хочет
Меня ли?
И было ли слово?

* * *

На золотом крыльце
Где контейнер с нектаром приготовила шмелиная матка
И яйца ждут своего часа напиток
Сидела и я, тоска-кручина, растекаясь в воздухе сладким ароматом

Почему бывает так, что одному лучше?
И всё, что окружает созвездия в ночном небе —
Глубокая синева

Почему тосковать так приятно бывает,
Когда уже зреют цветы на лугах и старый скворечник гудит
Полоса-полоса
Под пузом, под лапкой, под прочным крылом
Она — игла

Если битва проиграна — лучше всего
Есть время схоронить трупы и сделать выводы
Рефлексия — производное боли и ночи
Где в гнетущих созвездиях рождается новый шмель,
Он не похож на обиду
Он как игла горяч и прям
Он будет лучше

На золотом крыльце
Где самка сразилась с тоской
Где всё уже зреет новым шмелем и его меховым облачением
Там остаток меня
В тревожном гудящем воздухе новой весны
Не забудутся строчки
Надежда, надежда одна!

* * *

Когда мне плохо, я ставлю «Северо-западного слона»,
Песню Петра Мамонова, моего тёзки
Такая музыка — всё, что осталось выросшему в 80-ые мальчику,
Выбрившему ирокез в 10 классе,
Накануне сознания

Когда скрывается за домом напротив
Млечное мартовское солнце, впервые за много дней проявившееся,
Мне всё ещё плохо —
И я закуриваю сигарету

Когда мне не совсем хорошо, я могу пересмотреть «Кофе и сигареты»,
Отличный фильм Джима Джармуша, американца
Почему-то это — лучшее, что вспоминается
Из тех лет, когда я увлекался кино

Всё, что прошло — оно не совсем прошло и всегда возвращается
Например, во сне, когда долго выясняешь отношения с девушкой,
Которую бросил пятнадцать лет назад — достала

Читая книжку вечером,
Не такую, которую хочешь,
А для работы — мемуар о Сергее Довлатове,
Сексисте и алкоголике,
Зубоскале и красавце,
Которому не повезло родиться тогда,
Когда культура была оторвана от своего материка
И романтичные барышни кокетничали с теми,
Кто едва умел писать,
Не потому, что неталантлив,
А просто время такое...

Читая что-нибудь, наслаждаясь новой стенкой в своей комнате,
Отделившей меня от соседей,
Хочется иногда отвалиться от реальности,
Но спать днём, особенно под вечер — нельзя,
Будет плохое настроение
И опять придётся включить «Северо-западный слон»
Или «Кофе и сигареты» Джима Джармуша

* * *

Слишком коротко время,
Чтобы стянуть в узелок
Всё, что разносит печаль

Я собираю себя по частям
Время — изобретение древних
Помощник нестрогий

Отрезок тепла, что ведёт в закрома
В те потроха, что золотом дышат и кровью
Будет намёком

Солнце уходит за разом раз
Ра его стелет ладьёй и выводит потоком
Каждое утро в свой час

Время, загадочный плотник
Что хлеба разделил между чёрным и белым
Скорее, жёлтым

Этот свет как игла прошивает теперь
Время внутри, золотое
И время жатвы, года сумерек

Слишком тепло в этом марге
И будет теплее внутри
От золота, смысла всего!

* * *

А. Е.

Когда март мажет спину своим свинцом
На озере головы
Сажа покрыла воду
Не пропускает закат мёртвого праздника лета
И обрубок плеча тычет в пол

Где лежать, где стоять
Якорь тяжёлых дум зацепил небосвод
Лотом промерены эти виски,
Шея движет пейзаж
И сегодня не выйдет рисунок

На лугу два шатра
Два быка и зелёная посыпь травы
Это сон, что не шёл

Вместо душных заплат —
Два соска водовоза-светила
Жёлтый, только во сне

Если вскормлен хорошей луной
Музыкой рок и каким-то предвестием чуда
Схлынет, уйдёт

То-то будет потом, когда март этот хлам превратит
В новую гать для волов
Душно сегодня
И в воздухе зреет огонь

ПЯТЬ ФРАГМЕНТОВ ЛЮБОВНОЙ РЕЧИ

А. П.

1.

Белая лилия. Белая, как твёрдая сахарная пыльца на клокве, когда её разгрызаешь далёкой детской зимой. Ещё на лилии пупырышки, как озноб, как чья-то кожа, входящая в очень горячую воду, можно в ванной. Лилия без зелёного, что свойственно претенциозному сорту лонгифлорум. Не буржуазная декадентская лилия похорон и цветочных киосков, а ватная спелая лилия с сильно загибающимися лепестками. Это моё чувство к тебе.

Я пишу, просто чтобы не думать, не переживать — делать усилие, выполнять работу, иначе можно спятить, съехать с катушек, сокрушиться, свалить, скользко по дну, как тёплой зимой по холодной горке. За окном зима, а в душе лето. Лето никогда не любил, вернее так: лето не любил когда-то, теперь всё больше хочется солнца. Не слепящего пляжного пошлого солнца, а жёлтого солнечного света, много света для моей лилии.

Как хорошо, что я не крокодил. Крокодил шершавый и не может нырнуть на дно, где прохлада и камушки, ил, корни кувшинок, всякая мелочь, снующая по делам. К тому же он зелёный, а я малиновый, коралловый даже. Приступы мрачного отчаяния сменяются периодами света, надежды, хоть ей совершенно неоткуда расти.

Курить хорошо дома, когда не надо выбегать из тёплой шубы кафе, срывая покрывало уюта и бросая друзей над дымящимися чашками. Курить хорошо в одиночестве. Но так ли хорошо курить? Полезнее петь. Подумалось: петушиным криком. Но нет, лучше тогда вовсе не петь, тряссти хвостиком или чесаться, поскрёбывать рёбра, кожу, трогать языком проталины темноты, множиться, развеваться шарфиком. Хочется надеть шапку, когда темно.

Одеяло даёт ощущение дома, ощущение пещеры, где жарко горит огонь и вялится рыба. Туда можно провалиться, соскользнув ногой с неправильного вечера. Вечерами часто бывает тяжело, невыносимо. Приходится щупать чакры, пить таблетки, ёжиться, курить, лупить в монитор, торчать у телевизора, втягивая его слабый свет и срываясь на ещё одну сигарету.

Ты этого не знаешь. Всё, что связано с тобой, благостно и шершаво, как кожа крокодила, как поверхность лепестка лилии, которую я вообразил. Так хорошо бывает только в эти минуты одуре-

ния, половодья, утопленничества. Гумус сажной ночи втягивает глазные яблоки обратно в Нун, но то, что держит на поверхности, то, что растёт стремглав — это твоё лицо, украденное из Интернета, на которое я не имею права. Что я вообще могу? Вялое бессилие, бисер патины, шлак прибрежного мусора. Вдалеке белое пятнышко. Это твоё платье, это моя судьба.

2.

Пытаюсь нащупать струну, на которой возможно играть в эту зиму. Тишина, свет энергосберегательных ламп, стук клавиатуры. Дым и горстка окурков, напоминающих древний курган. Похорони мечту, укради фантазию. Конница мнётся у северной стены, стяги развиты, стрелы заострены. Как образ звал на свершения, зовёт что-то далёкое, гулкое — туда, где снег.

Трепещет роза, рвётся крылышко стрекозы. Я сижу на краю болотистой лужи и наблюдаю путешествие головастика. Почему они не стали в строй, почему их ряды разомкнуты? Лето пенится влажной занавесью осоки и рогоза, солнечными бликами, кислым крыжовником. Как малые камушки в речке Лососьянке, дети одиночки в своих грёзах о самих себе, в своих фантазиях о дальнейшей жизни.

Снег мнёт темноту, кружится, липнет, если не так холодно. Конница движется к югу, наматывая на колёса день, вечер, распространяя сердечный гул. Тоска равнины. Одинокое сияние ночи. Огни и вымпелы.

На самом солнечном пригорке тело мякнет. На снегу оно невозможно. След сознания на скрашенной сигаретой плёнке водицы в недопитой чашке кофе. Закуриваю ещё. Сладко. Почёсываясь и слегка вздрагивая от неуютя, продолжаю галлюцинировать. Почему-то сегодня не разомкнуть пелену страха. Всё серое, даже свет лостры, заряженной энергосберегательным электричеством.

Голое тело на пляже хуже разврата. Эта недоступность чужого как противная кислая конфета, без оболочки, без цели, без сахара. Что-то постыдное в самом желании. Желание постыдного, светлячки пуговиц, рогожа заклёпок, траур небольших молний. Когда тело прикрыто шубой, как тело поэта, тогда вожделение оправдано. Нищетой, нищесбытием, тоской по содержанию, по нормальному ложу, не осквернённому одиночеством.

Сигарета тает быстрее стрекозы, не долетевшей до того берега болотистой лужи. Японское мороженое, когда горячо в самом

сердце. Как добиться равновесия, как перенести нечто с листа на лист, не размазав чернил, не прокляв всё на свете? Ночные насекомые, жалкие дуэлянты лунного света, так хотят быть похожи на ту стрекозу, так хотят остаться в живых, не запутаться, заслониться, избыть.

3.

Горизонт мал. Он опрокидывается, как медный таз, проливая розовую жижу с неспелым плодом солнца. Это бывает по утрам. Тотальное одиночество, связанное с бессонной ночью и тупым ощущением нового дня. Разочарование, угроза.

Скачок, выпрыгнуть из себя лягушонком, чтобы не расплавиться в тазу зари, в этом чувстве без исхода, в старых валенках цвета слипшихся осенних трав. Зачем замаячило вдаль, если нельзя дотронуться, нельзя быть, нельзя сберечь?

Эмоции как ветошь, которой бабушка Аня красила яйца к Пасхе. Они так непрочны, так невзрачны, так небрежно разбросаны внутри себя, что кажется — нет в них толку и всё только маета. Но стоит настоять на них кипятком, и эффект получен. Аффективное состояние, эмоция первична, разум на серебряных ниточках послушно дёргается в темноте сцены, выполняя приказы той, что просит.

Чего просит будущее? Зачем думать о том, чего нет? Но, кажется, если погрузиться в мечту, в эту мягкую парусину, то не так больно и одиноко. Вообще в таком состоянии можно провести часы, дни, месяцы. Грёза съедает боль как яйцо в мешочек, оставляя скорлупу воли — разбитую, выморочную.

Когда кофе сменяет сигарета, день — вечер, кажется, и нет той волны, что гнала, обещала жизнь, нехитрые хлопоты, сапожки в заклёпках, какую-нибудь снедь. Всё дробится на мелочи, на то, чем богата пустота окружающего, на бисер предметов и феноменов, круговорот Мары, в который она втягивает погибшие корабли.

Надо чаще жечь свечи, в их пламени прогорает шкурка Мары, в их пламени чистится сам свет, проникая сквозь кожу к внутренностям, которым особенно ябко от невозможности поступка. Как решиться на действие и определить его форму? Как не поддаться расслабляющей природе волн, набрасывающихся на голову как на берег? «Сиди и жди», — это отказ. Всегда заря идёт на смену этому завыванию, и ничто не предвещает перемен...

4.

Агрессия, малиновые рубежи. Когда камушки стремглав обрушиваются в дырочку земли, словно бы выдернутые шнурком с её поверхности. Вечерняя заря мельчает, оставляя сажу на белом крошеве в становящемся всё теплее воздухе.

Всё имеет вес, даже малая пушинка-снежинка. Всё имеет последствия, течёт с одной горки в другое ущелье, вниз, во впадины и моря. Корабль тоски вдребезги разбивается о молчание или непонимание, оставляя свой остов медленно жариться на далёком южном солнце. Дистанция всегда необходима, чтобы хлебнуть горя. Обязательно черпай с самого дна и разбрызгивай над головой.

Моряк бодрость в капсуле сигареты, неведомый путешественник крови, брат никотин, как пел волосатый Гребенщиков. Татуировка невыплаканных нервных всполохов на почерневшем от долгого лежания на воздухе баклажане влечения. Что может сказать ложка, забытая на столе? Только сны как порталы ровными рядами дверей предлагают всё тот же ночной аттракцион, Дэвида Боуи, распалённого от кричания, в белой прилипшей к соскам рубахе, маникюре, помаде и кольцах, микрофоны молчат.

Жаль, что зимой нет комаров. Они способны раздражать, стирая слезу горя. Только бы отвлечься, только бы не думать, не лгать, не бесшevelьно валяться. В диван пропадают лучшие дни, лучшие потуги головы, все сёстры скорби и вдохновения. Дай мне нужный портал.

Так давно тебя не видел, что забыл твои волосы. Забыл почти всё, переключился, перегорел, схлипнул. Прости меня, небесный огонь, прости, золотое пёрышко, прости, рассвет, немедленно приходящий на помощь, как только с готовностью произносишь его имя. Я успокоюсь. Обязательно, в тиши камушковых отложений на дне самой глубокой резервации воды. Забуду снасти, позу, загар капитана, слёзы надежды и вопли: берег! Прости меня, канифолька, радужное звено, имбирный напиток. Свет и помыслы. Печаль и керосиновая лампа, вокруг которой воздух не так густ. Пусть будет легче, пусть будет завтра!

5.

Земля кормится дымом. Когда змея разлуки проползла внутрь и увидела, что вокруг ничего нет, она сжалась в последних судорогах и выплюнула на холодный бетон золотую каплю. Всё, ждать

и ждать, вымарывая из календаря цифры-заложники. Как только опрокинется небо, бежать изо всех сил, ударяясь, спотыкаясь, цепляясь. Дерево растёт вверх только с виду, его шершавые корни просачиваются внутрь подвалов и перегонов метро, протираются дальше, где уже не бывает лампочек, в пространство, забитое камешками и глиной.

Поцелуй её голос — не задрожит веточка, не дрогнет река, не распухнет бутон. Всё на земле скрылось в туман, ушло за поворот, навсегда сгнуло, ничего не оставив. Был бы хоть маленький шанс, я бы подвязал курочке лапку. Но нет, чёрное оперение ночи чистит ветер, грязь под и над телом, профилем, пальтецом формы.

То, что нас разъединяет, делает нас черствее. Мы как бы уже не существуем для прошлого и будущего, ниточка порвалась, сгнив где-то в середине платья. И не потянуть, не схлопнуть опять в одну ладошину, чтобы треснул воздух и птица неизвестного имени покинула пределы пустоты. Этот звон будит, он приветствует, он распалает. Но только не нас, только не теперь. Пустота побеждает.

Вернись, замори червячка нежности, отдайся фантазии, которую ещё можно разогреть на вчерашнем масле. Когда кончились продукты, кричи о несбыточном. Но прогорает заря, веретено наматывает минуты, трогая гнилую ниточку, шьётся роба зимней ночи.

Если свежесть меркнет на тёплом воздухе, когдаходишь с морозной мостовой в темноту комнаты, но одиночество меркнет от иссякания. Не может долго длиться то, что ни к чему не привязано, что болтается глупой лучинкой в космосе вечной тишины, в круговерти покоя, в чёрной пробойне январских праздников. Не выходи на улицу, там ещё хуже.

Маячок мотается, производя свечение и лёгкий скрежет, как провод с наледью, обматывающий бетон и дерево. Молчи молча, если говорить получается только осколки, только отрицательные величины. Но золотая капля, выплюнутая серебряной зимней змейкой, ещё мерцает в темноте, распутывая и загадывая вновь, развоплощая видения Мары, вскармливая чудовищ безумия. Не распахивай сердце, подставляя его немолкнущему морозу, скройся в тишину.

ИЛЬЯНЕН

Записка, вложенная в карман приятелю

Александр Сергеевич Ильянен, как вельможа XIX века, по-французски изъясняется лучше, чем на родном языке. Он похож на главу Ордена иезуитов, а, может быть, на мастера масонской ложи. Мы так мало знаем о трюфелях и Бордо, что сладок всякий разговор с человеком, чей вкус возвращён поэзией.

Ильянену не нужна бумага, чтобы писать. Он суфий, странствующий философ. «Мир ловил меня, но не поймал». Он, как буддийский монах, всегда немножко в Нирване. Бодисаттва, достигший просветления, но не ушедший, а вставший у входа, готовый пропустить всех нас туда, вперёд — любовь к живым существам управляет тем, кто страдает, кажется, понарошку.

Ильянен, как некогда Карамзин, сплачивает вокруг себя молодую литературу. Не потому, что он может научить, помочь — он сам нуждается в помощи. Просто у литературы должен быть центр силы, место, вокруг которого что-то растёт, бегают дети.

Одевается Александр Сергеевич в женские брюки и дареные меценатами рубашки, которые часто ему велики. Ездить предпочитает в Финляндию, на что откладывает деньги в специальный нагрудный мешочек с надписью «Валаам». У Ильянена есть дача, без туалета, но с комарами. Ходит он быстро, как заяц русак разрезывая пространство Родины на время до пребывания и после.

Как нам любить Ильянена? Этот вопрос я задаю себе и вам. Всё чаще и чаще. И не потому, что Александр Сергеевич нуждается в любви. Ильянен абсолютно самодостаточная система, которой ничего не нужно. Ну сами подумайте: что может быть нужно йогу, стоящему на голове на дне океана? Но! Мы сами, хотим того или нет, нуждаемся в любви к этому человеку. Чтобы не быть сиротами, чтобы быть лучше, чтобы не так уныло и бесперспективно, чтобы вообще не казаться и не маячить, а находиться в определённом месте здесь-и-сейчас.

Ильянен ходит голым по русской литературе. Он не делает для этого ничего. Просто бывает иногда собой. Нет, я соврал. Он никогда не бывает ничем иным, кроме себя самого. В этом и секрет его притягательности. Когда человек не боится и не стесняется быть, тем более, — собой, это умопомрачительно хорошо, причём хорошо всем и сразу, просто от сознания того, что хоть кто-то хочет быть именно собой, и есть.

У Александра Сергеевича дома хранятся автографы всех известных мне литераторов и картины дюжины известных и неизвестных мне художников. Ильенен пьёт чай, часто дареный теми же меценатами, с вареньем собственного приготовления. Мечтает купить кожаные стельки и велосипед, чтобы на даче ездить за свежим молоком и купаться. Перед купанием он делает зарядку, видно, годы военной муштры оставили свой бодрый отпечаток на этом неунывающем организме. Плавая, Ильенен фыркает.

В загадке Ильенена загадка петербургской словесности. Здесь не нужно ничего изобретать, потеть, ругаться, делить деньги, модно тусоваться, спать с Ахмадулиной. Здесь надо просто видеть сны. Если вы человек, который хорошо видит хорошие сны — вы уже поэт, и тоже можете любить Александра Сергеевича Ильенена. А ведь без этой любви жизнь тускла и уныла, нет радости ни в чём, только этот нейролептик может помочь страждущему. Прикусите его на досуге.

25 июля 2014, СПб.

СОДЕРЖАНИЕ

Лев Оборин. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СФИНКСОВ. О НОВОЙ КНИГЕ ПЕТРА РАЗУМОВА.....	3
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА	7
СТИХОТВОРЕНИЕ С РОЖДЕСТВЕНСКОЙ СКИДКОЙ	10
«Она тянулась к губам...»	11
ЖЕЛАНИЕ ВЕЩЕЙ	12
«Сосуд с огнём, сосуд с прошедшей водкой...»	14
ВЫБОРГСКОМУ РАЙОНУ	15
«На энергии негатива, ярость, спрессованная в узлы, в кровавую кашу...»	16
«Я распадаюсь каждый день...»	17
«Как байронический Гарольд...»	18
«Вселенной катышек — кадык, а, может, клёцка в супе у Бога...»	19
ПАМЯТИ ХОХИ	20
«Продираясь сквозь борщевики...»	21
«Небесный полк и колесница...»	22
«Солнце лишь край способно обнять...»	23
«У солнца, кажется, есть хвост...»	24
«Умер доктор, опустел белый халат...»	25
ТЕКСТ, НАПИСАННЫЙ ПО ЗАДАНИЮ ПСИХОЛОГА	26
«Какие-то нити, хруст сухих веток...»	27
«Солнце скатилось в канаву...»	28
«Во все концы дождь, август пшеничный и поле разрыто воронкой...»	29
«Из покрывок и сажи, из алюминия...»	29
«До края земли брезентовый склон...»	30
«Снег упал на погон...»	31
«Ложью припущены эти глаза...»	31
«Кофе пенкой потёк...»	32
«Где монолит разбит снарядом, прилетевшим со стороны поля...»	32
«В “Галерее” шапку потерял...»	34
«И вот я думаю: куда бы запропасть?..»	35
«Горло, ты говоришь...»	36
«Ошибки совершает каждый, они точат...»	37
«Когда прободает чувство...»	38

«Бумажной джонки лёгкий свет...»	39
«Шебуршание крыл на неминных полях...»	40
«Поверхность меняет цвет...»	41
«Река течёт на север, обратно естественному движению...»	42
«Касание невозможно...»	43
«Пока в жёлтые воды не отправлен мой труп...»	44
«Семечки темноты в утреннем небе...»	45
«Сайбирии тяжёлая дуга...»	46
«Тихо-тихо, тише хворостка, тише сахарка...»	47
ПЕТЕРГОФСКАЯ СКАЗКА	48
«Ночью проснулся от сквозняка...»	49
ХАРМСУ	50
«Пленэр тюльпанами горяч...»	51
«Красот малиновый и алый...»	52
«Тревога, спутница...»	53
«Под сердцем птенчик задышался...»	54
«Зелёный на глади...»	55
ПЕЙЗАЖ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА	56
«Бледный сентябрь, туч мерные пашни...»	57
Сон выборжанки	58
«Шумит машинка, ветошь вращая железным нутром хлоромора...»	59
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЛЁГ НА КУШЕТКУ	
В КАБИНЕТЕ ПСИХОАНАЛИТИКА	60
ЭЛЕГИЯ ОКТЯБРЯ	61
«Тянишь, ниточка, топчись, палочка...»	62
В ОСЕННИХ СУМЕРКАХ	63
[Я САМ ПОДАРОК]	65
МЕРКУРИЙ, БОЖЕСТВО СТРАХА	67
«Шла по воду земля, кружилась белизна...»	68
«Жёлтенькое, жёлтенькое...»	69
«"Тыг-дык" стучит паровоз...»	70
«К этой дверце в закрома...»	71
«Ничто не греет соцветия нежного...»	72
ПЕЙЗАЖ С ПЕРСОНАЖАМИ	73
НАБЛЮДАЯ ТИМУРА	75
«Широким шагом, разливая лужи вокруг ботинок...»	76
«На золотом крыльце...»	77
«Когда мне плохо, я ставлю "Северо-западного слона"...»	78
«Слишком коротко время...»	79
«Когда март мажет спину своим свинцом...»	80
ПЯТЬ ФРАГМЕНТОВ ЛЮБОВНОЙ РЕЧИ	81
ИЛЬЯНЕН	86
